

The image is a movie poster for the film 'The Pianist' (Плата за антракт). It depicts a group of men, including the main character, sitting at a long wooden table in a dark, dilapidated room. The room has large, multi-paned windows that look like they are made of glass blocks or are broken. The walls are made of rough stone or brick, and there are some hanging plants. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows. The title 'Плата за антракт' is written in large, white, sans-serif font across the center. Above it, the name 'Альтер М.' is written in a smaller font. The overall mood is somber and historical.

Альтер М.

Плата за антракт

Альтер М.

Плата за антракт

<https://litres.ru/74210554>

SelfPub; 2026

Аннотация

Премьера спектакля о суициде оборачивается кошмаром: двести зрителей получают письма с угрозой — если до финала никто не убьет себя, театр взлетит на воздух. Режиссер Викентий Рихтер вынужден за два часа найти Кукловода среди актеров и публики, пока страх превращает людей в зверей. Психологический триллер о природе искусства, границах ответственности художника и цене, которую платит каждый, кто решается заглянуть в бездну.

Содержание

Глава 1. Акустика пустоты	4
Глава 2. Анатомия страха	20
Глава 3. Хор предателей	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Альтер М.

Плата за антракт

Глава 1. Акустика пустоты

За час до начала третьего звонка в гримерной пахло не пудрой и потом, а холодной медью. Этот запах всегда преследовал Викентия Павловича Рихтера перед премьерами. Он стоял перед большим, в полный рост, зеркалом в гримерной, отведенной ему как режиссеру, хотя никогда ею не пользовался по прямому назначению. Собственное отражение казалось ему чужой, плохо отреставрированной маской. Ему было сорок семь, но за последние полгода тело высохло, превратившись в жесткую конструкцию из сухожилий и воли, обтянутую бледной кожей. Под глазами залегли тени, похожие на синяки от тупого удара, а некогда густые, с проседью, волосы теперь напоминали пепел, припорошивший череп.

Он медленно, почти ритуально застегивал манжету черной сорочки. Запонка, маленькая серебряная маска комедии, выскользнула из пальцев и со звоном упала на паркет. Рихтер не стал ее поднимать. Этот звук — тонкий, металлический, мгновенно умерший — показался ему дурным предзнаменованием. Впрочем, весь этот спектакль был одним сплошным дурным предзнаменованием, материализо-

вавшимся кошмаром, который он сам вызвал из глубин своего подсознания и облек в форму мистерии.

Пьеса называлась «Акустика пустоты». И замысел её родился не в тиши кабинета, а в гуле реанимационной палаты год назад. Тогда Рихтер лежал под капельницей, глядя в белый, без единого пятнышка, потолок и слушая, как где-то слева захлебывается собственным кашлем старик, а справа — монотонно, словно метроном, пищит кардиомонитор. Он попал туда после того, как его сердце, уставшее от многолетней войны с цензорами, критиками и собственной трупной, решило объявить внезапную забастовку. Клиническая смерть длилась пятьдесят семь секунд. За это время он не увидел ни туннеля, ни света, ни покойных родственников. Была только абсолютная, звонкая тишина и чувство невероятного, всепоглощающего покоя. Акустика пустоты.

Когда его вытащили, он понял, что все, что он делал раньше — его чеховские «Три сестры», разобранные на атомы, его бунтарский Горький, сыгранный в цеху обанкротившегося завода, его номинированный на «Золотую Маску» «Король Лир» в больничных катакомбах — все это была лишь суетливая попытка заглушить страх перед этой самой пустотой. И тогда он решил: следующий спектакль будет о том, что он пережил. Не о смерти, нет. Смерть — это биологический финал, финальный занавес. Спектакль будет о мгновении *выбора*. О точке невозврата, где человек, стоя на краю, слышит именно эту акустику и решает, шагнуть ли в нее.

Пьесу он написал сам. Это был его первый литературный опыт. Сорок страниц рваного, лишенного знаков препинания текста, потока сознания, разбитого на десять сцен. Главный герой — Безымянный — просыпался в замкнутом пространстве, похожем на внутренность колокола, и вел диалоги с фантомами своих обид, страхов и несбывшихся надежд. Финалом должен был стать прыжок в пустоту. Не как акт отчаяния, а как акт освобождения. Рихтер требовал от актеров играть не эмоции, а их отсутствие. Он добивался той степени сценической пустоты, когда зритель должен был физически ощутить холодок, пробегающий по позвоночнику.

И вот премьера. Зал «Геликон-Опера» гудел, наполняясь публикой. Это был закрытый показ, билеты распространялись только среди «своих» — театральных критиков, богемы, нескольких знаковых фигур мира искусства и спонсоров. Рихтер настоял на том, чтобы зал был небольшим. Сцена-трансформер, выдвинутая прямо в партер, окружалась зрителями с трех сторон. Никаких бархатных кресел, только жесткие деревянные скамьи, покрытые грубой мешковиной. Никаких люстр — лишь несколько ламп накаливания, свисающих на длинных шнурах, и сотня маленьких свечей в стеклянных стаканах на полу, создающих зыбкое, дрожащее море огней.

Рихтер вышел в зал через служебный вход и остановился в тени последнего ряда. Он смотрел, как входят люди. Вот Инга Берг, театральный критик, способная одним абзацем

убить любую постановку. Она шла, высоко подняв голову, словно делала одолжение искусству, снисходя до него. Рихтер знал, что она ненавидит его за то, что два года назад он выставил ее из-за кулис, запретив присутствовать на репетициях. За ней следовал Олег Мстиславович, меценат с лицом усталого римского патриция и деньгами, пахнущими нефтью и безнаказанностью. Он финансировал постановку, но Рихтер чувствовал, что его интерес к искусству был лишь сублимацией вуайеризма. Меценат жаждал увидеть кровь, даже если она была сделана из клюквенного сиропа и шелка.

Актеры уже были на сцене. Они лежали, сидели, стояли в неестественных, сломанных позах, изображая спящие тела в состоянии анабиоза. Рихтер добивался эффекта анатомического театра, где артисты — не персонажи, а экспонаты человеческой боли. Он проводил с ними изнурительные тренировки, заставляя вспоминать самые постыдные и страшные моменты их жизни, а затем запрещая проявлять эти эмоции. «Заморозьте крик в горле, — шептал он им. — Пусть зритель сам докричит его в своей голове».

— Викентий Павлович, — услышал он сзади напряженный голос помощника режиссера, юного Кости, запыхавшегося и бледного. — Там, у входа... это самое... проверяющие. Говорят, анонимный сигнал поступил о заложенном устройстве.

Рихтер медленно перевел взгляд на паренька. В первое мгновение он не понял слов, вернее, понял, но мозг отказал-

ся их обрабатывать.

— Какое устройство? — спросил он глухо, словно сквозь вату.

— Взрывное. Приехали кинологи, МЧС. Требуют отменить спектакль и эвакуировать зал.

Внутри у Рихтера похолодело, но это был не страх, а какая-то ледяная ярость, поднимающаяся из самых глубин. Отменить премьеру? Эту премьеру, выстраданную им на больничной койке? Это детище, которое стоило ему остатков здоровья? Закрыть занавес из-за чьей-то глупой шутки или телефонного терроризма?

— Никакой эвакуации, — отрезал он. Голос прозвучал сталью, хотя внутри все дрожало. — Где администратор?

Он почти бегом направился в фойе. Там, у тяжелых дубовых дверей, действительно стояли люди в форме. Офицер с усталым лицом и собакой — смышленной овчаркой, деловито обнюхивающей плинтусы. Администратор театра, полная женщина с испуганным лицом, заламывала руки. Увидев Рихтера, она кинулась к нему.

— Викентий Павлович! Они говорят, нельзя начинать. Звонок о минировании.

— Кто звонил? — резко спросил Рихтер, обращаясь к офицеру. — Мужчина? Женщина? Что именно сказали?

Офицер, капитан с погонами, пожал плечами:

— Голос был искажен, электронный. Сказали дословно: «В „Геликоне“, на премьере Рихтера, заложена бомба. Взрыв

произойдет в двадцать два тридцать, ровно в тот момент, когда закончится финал, если не будет исполнено условие». Это всё.

— Условие? — переспросил Рихтер. — Какое условие?

— Неизвестно. Абонент отключился. Мы обязаны реагировать, Викентий Павлович. Поймите, до начала меньше получаса. Мы должны осмотреть помещение, но я настаиваю на отмене. Риск слишком велик.

Рихтер посмотрел на часы. 19:10. До начала — двадцать минут. До предполагаемого взрыва, если это не блеф, — чуть больше трех часов. Он принял решение мгновенно, интуитивно, как всегда принимал самые верные режиссерские решения. Отмена спектакля означала бы смерть постановки. Смерть без шанса на воскрешение. Критики разнесут слух, что премьера Рихтера сорвана терактом, и этот шлейф потянется за спектаклем вечно. Он не мог этого допустить.

— Осматривайте зал, сцену, карманы, гримерки, — командовал он офицеру. — Делайте все, что положено по инструкции, максимально быстро и незаметно для публики. Но представление начнется вовремя. Я беру ответственность на себя.

— Но...

— Я сказал, я беру ответственность! — в голосе Рихтера прорезался металл, не терпящий возражений. Он повернулся к администратору: — Объявите задержку по техническим причинам на пятнадцать минут. Скажите, что режиссер про-

веряет световую партитуру. Публику в зал пока не запускать.

Он знал, что рискует. Рискует чудовищно. Но интуиция, его главный компас в лабиринте сцены, подсказывала, что звонок — это часть спектакля. Не его спектакля, а какого-то другого, того, что разворачивался параллельно, в тени. Кто-то из его врагов, а их было немало, решил устроить ему «подарок» на премьеру.

Через десять минут офицер доложил, что кинолог с собакой прошел все помещения, включая подвал и чердак. Собака ничего не обнаружила. Никаких подозрительных предметов, никаких следов взрывчатки. Это был ложный вызов. У Рихтера немного отлегло от сердца, но осадок остался. Он вернулся в зал, где уже рассаживались зрители. Их перешептывания сливались в единый тревожный гул. Запах меди, казалось, усилился.

Он занял свое место в последнем ряду, с краю, на специально оставленном для него откидном стуле. Отсюда он мог видеть не только сцену, но и лица зрителей, их спины, их напряженные затылки. Театр для Рихтера всегда был не только тем, что на подмостках. Главное действие разворачивалось в глазах смотрящих. Он называл это «энергией отражения».

Свет начал медленно гаснуть. Погасли прожекторы, и в зале воцарилась крошечная, плотная тьма, которую не могли разогнать даже маленькие свечи на полу — их огоньки лишь сгущали мрак по углам. Шепот стих. Наступила абсолютная тишина. Та самая акустика пустоты, которую он так

старательно воссоздавал.

И в этой тишине раздался первый звук. Это был даже не звук, а вибрация. Низкая, утробная, исходящая, казалось, из-под пола. Это включили специальные низкочастотные динамики, которые Рихтер тайком заказал в институте акустики. Вибрация проходила сквозь дерево скамей, проникала в кости зрителей, вызывая смутную, безотчетную тревогу на физиологическом уровне. Он видел, как несколько человек инстинктивно схватились за подлокотники.

Луч света, узкий как лезвие, прорезал темноту и уперся в центр сцены. Там, на возвышении из ржавого железа, сидел человек. Это был Вадим Леонидович Снегирев, ведущий актер труппы, игравший Безымянного. Ему было за пятьдесят, но сейчас он выглядел как древний старец и младенец одновременно. Его тело, облаченное в грубую холщовую рубаху, было неподвижно, но лицо, напротив, жило каждой мышцей. Он смотрел в зал широко открытыми глазами, и в этом взгляде не было ничего актерского. Там была подлинная, выстраданная боль.

Рихтер знал эту боль. Он лично «вскрывал» Снегирева на репетициях, заставляя его вытаскивать на свет демонов его прошлого. Снегирев начал пить после того, как пятнадцать лет назад его сын выбросился из окна многоэтажки. Это была старая, запекшаяся рана. Рихтер, словно хирург без анестезии, разбередил ее, превратил в инструмент. Он знал, что поступает жестоко, но искусство требовало жертв. Сейчас,

глядя на Снегирева, он видел не актера. Он видел человека, который каждую секунду пребывания на сцене заново переживает тот самый звонок из полиции.

Безымянный заговорил. Голос был лишен интонаций, монотонный, как шум ветра в трубе.

— Пространство. Замкнуто. Девять шагов в длину. Четыре в ширину. Высота неизвестна, ибо я не могу до нее дотянуться. Когда я кричу, эхо возвращается ко мне трижды. Первое эхо — это мой голос. Второе — мой страх. Третье — тишина, которая была здесь до меня. И я завидую этой тишине.

Слова падали тяжелыми каплями. Рихтер видел, как напугалась Инга Берг в третьем ряду. Она подалась вперед, пытаясь уловить суть. Но суть ускользала. Спектакль строился не на логике повествования, а на эмоциональных качелях. Снегирев начал медленно, сустав за суставом, подниматься. Его движения были механическими, словно невидимый кукловод дергал за нити. Это была пластика марионетки, осознавшей свою зависимость и пытающейся порвать путы.

Сцена заполнилась другими актерами. Они появлялись из темноты беззвучно, словно призраки. Это были Первый Голос, Второй Голос и Третий. Их лица были скрыты белыми масками, на которых черной тушью были нарисованы простые эмоции: скорбь, ужас, насмешка. Они начали свой круговой танец вокруг Безымянного, перешептываясь, перебивая друг друга. Это был не диалог, а какофония, из кото-

рой вырывались обрывки фраз: «Ты должен...», «Ты виноват...», «Вспомни...», «Забудь...». Эта сцена была кульминацией психологического давления, и Рихтер с мрачным удовлетворением отметил, что актеры справляются блестяще. Они создавали то самое ощущение внутреннего колокола, где каждый звук превращается в пытку.

Прошло около получаса. Спектакль набирал обороты. Рихтер почти забыл о звонке, растворившись в происходящем на сцене. Сейчас Безмянный проходил стадию отрицания. Он метался по сцене, пытаясь найти выход из метафорического лабиринта, но повсюду натывался на зеркальные щиты, которые выносили Голоса. В зеркалах он видел свои искаженные отражения — то старым, то молодым, то безобразным. Рихтер лично подбирал оптику кривых зеркал, добиваясь эффекта распада личности.

Но идиллию его погружения нарушил звук. Тихий, едва уловимый, но абсолютно чужеродный ткани спектакля. Шуршание. Оно доносилось не со сцены, а из зала. Из темноты пятого ряда справа. Рихтер повернул голову. Зрители сидели неподвижно, загипнотизированные действием. Но там, на месте 23, происходило какое-то движение. Человек, мужчина в темном костюме, головы которого Рихтеру не было видно, разворачивал что-то. Бумагу. Письмо. Конверт.

«Странно, — подумал режиссер. — Неужели кто-то читает почту во время премьеры?»

Однако вскоре шуршание раздалось снова, уже в другом

конце зала. Женщина слева, судя по силуэту, та самая Инга Берг, тоже опустила голову, подсвечивая себе экраном телефона, и читала что-то на листе бумаги. Это было необычно. Чувство неправильности происходящего начало заползать в душу Рихтера, словно струйка ядовитого газа, просочившегося сквозь клапан. Он заметил, как еще несколько зрителей, явно сбитых с толку, полезли в карманы и сумки, извлекая оттуда конверты.

«Откуда? — пульсировала мысль. — Они не могли пронести их с собой. Я бы заметил».

Сцена на подмостках достигла новой точки кипения. Безымянный схватил один из зеркальных щитов и с силой швырнул его на пол. Раздался оглушительный звон бьющегося стекла. Тысячи осколков брызнули во все стороны, отражая свет свечей, создавая иллюзию взрыва. Публика ахнула и отшатнулась. Это был технически сложный трюк, отрепетированный до автоматизма, но сейчас он произвел не тот эффект, на который рассчитывал Рихтер. Ахнули они не от мастерства, а от внезапности, смешанной с уже зародившимся в них беспокойством.

Именно в этот момент, когда звон стекла еще дрожал в воздухе, зал пересек луч фонарика. Не театральный, а бытовой, резкий, светодиодный. Он разрезал полумрак от пятого ряда и уперся в сцену, осветив заплаканное, покрытое бутафорской пылью лицо Снегирева.

— Ложь! — раздался громкий, срывающийся на фальцет

голос из пятого ряда.

Снегирев, опытный актер, на секунду сбился с ритма, но профессионализм взял верх. Он продолжал свой монолог, повысив голос, пытаясь перекрыть внезапный шум.

— Я говорю с вами из бездны, а вы молчите! — кричал он, обращаясь к залу, но слова его теперь прозвучали двусмысленно.

— Это ложь, я сказал! — заорал мужчина в пятом ряду, и теперь он встал. Луч его фонарика плясал, выхватывая то кусок декорации, то растерянное лицо актера в маске. — Ты не имеешь права! Ты украл это!

В зале началось движение. Послышались возмущенные голоса, кто-то призывал мужчину сесть и не мешать, кто-то требовал включить свет. Администратор в проходе замерла в нерешительности. Рихтер вскочил со своего места. Ситуация выходила из-под контроля, но даже в этом хаосе его мозг режиссера лихорадочно анализировал мизансцену. Мужчина в пятом ряду был не просто пьяным или безумным. Он говорил осмысленные вещи. «Ты украл это!». Что «это»? Идею? Сюжет?

Костя-помощник уже бежал по боковому проходу к нарушителю, но тот внезапно одним ловким движением перемахнул через ограждение и оказался прямо на сцене, в зоне игры. Это был молодой парень, лет двадцати пяти, с неестественно бледным лицом и горящими, как угли, глазами. Одет он был опрятно, даже франтовато, но весь его вид источал

какую-то исступленную, маниакальную энергию. Он выхватил из кармана скомканный лист бумаги и потряс им над головой.

— Условие не соблюдено! — закричал он, но теперь его голос был обращен не к актерам и не к зрителям, а к кому-то невидимому. — Вы думаете, это игра? Вы все получили инструкции! Почему вы сидите?!

По рядам пронесся ветер паники. Слово «инструкции» сработало как детонатор. Люди, только что возмущенно шикавшие на смутьяна, начали судорожно вчитываться в содержимое конвертов, которые они держали в руках. Те, у кого их не было, заглядывали соседям через плечо. Экран телефона Инги Берг осветил ее побледневшее лицо. Она читала и, кажется, не верила своим глазам.

Рихтер действовал инстинктивно. Он бросился к сцене. Ему нужно было убрать этого сумасшедшего от актеров, восстановить порядок, спасти спектакль. Но когда он подбежал к краю подмостков, Снегирев, выйдя из роли, сделал шаг вперед и заслонил собой парня.

— Не трогайте его! — голос Снегирева звучал глухо и странно. — Викентий Павлович, вы должны это прочитать.

И он протянул режиссеру точно такой же конверт, какой был у всех. Только этот конверт, судя по всему, лежал прямо на сцене, среди бутафорского реквизита.

Рихтер вырвал конверт из его рук. Бумага была плотная, дорогая, без каких-либо опознавательных знаков. Внутри ле-

жал сложенный вдвое лист. Почерк был печатным, буквы ровные, словно напечатанные на машинке, но Рихтер, много работавший с типографикой, понял, что это ручная работа. Кто-то очень старательно вывел каждую литеру.

«Добро пожаловать на премьеру, — гласил текст. — Вы находитесь внутри мизансцены, которую не репетировали. В здании театра находится взрывное устройство. Его мощность достаточна, чтобы сравнять с землей этот зал вместе с подвалом. Время активации: 22:30. Это время конца спектакля, если верить программке.

Условие отмены: один из присутствующих, неважно, актер или зритель, должен совершить акт добровольного ухода из жизни. Суицид. Публичный. Здесь и сейчас.

Я знаю о вас больше, чем вы думаете. И господин Рихтер, который так любит заглядывать в чужие бездны, должен понять, что значит оказаться на дне собственной. Игра началась. Часы тикают».

Рихтер прочитал текст трижды. Мысль о том, что это часть чьего-то розыгрыша, мелькнула и исчезла, раздавленная ледяной достоверностью формулировок. Его взгляд метнулся на часы на руке. 20:07. У них есть два часа двадцать три минуты. Он поднял глаза и оглядел зал. Пляшущие огоньки свечей теперь не освещали, а словно вырезали из тьмы бледные, искаженные ужасом маски. Это были лица зрителей, которые только что осознали себя не наблюдателями, а участниками — заложниками.

Снегирев стоял, все еще сжимая в руке осколок бутафорского зеркала. Юноша, ворвавшийся на сцену, тяжело дышал, глядя на Рихтера с вызовом и, как ни странно, с торжеством.

— Кто... кто это сделал? — прохрипел режиссер, обводя взглядом трупку. — Кто подложил письма?

Ответом ему была тишина. Та самая акустика пустоты, которую он так тщательно создавал для своего спектакля. Только теперь она была наполнена не искусством, а подлинным, первобытным ужасом. Рихтер понял: кукловод, о котором говорилось в письме, не прячется за кулисами. Он здесь. Возможно, он стоит в луче света, сжимая в руке театральный реквизит. А возможно, сидит в темноте зала и наслаждается первым актом своей собственной пьесы.

Рихтер скомкал письмо в кулаке. Белая бумага хрустнула, словно кость.

— Всем оставаться на своих местах! — его голос, поставленный годами работы с актерами, перекрыл поднимающийся гул. — Закройте двери! Никто не покидает зал!

Костя, стоявший у края сцены, с ужасом смотрел на него:

— Но, Викентий Павлович, может, вызвать...

— Никакой полиции! — рявкнул Рихтер. — Письмо написано тем, кто знает мой метод. И он не блефует. Устройство активировано на время. Если сюда ворвется спецназ, он просто нажмет кнопку раньше. Мы сами выясним, кто это. У нас есть два часа.

Он осмотрел зал. Живой улей, готовый взорваться паникой. Нужно было брать управление в свои руки.

— Дамы и господа, — начал он, и его голос зазвучал обманчиво спокойно. — Произошла непредвиденная ситуация. Спектакль... трансформируется. Теперь это пьеса с открытым финалом. И автором этой пьесы, судя по всему, является не только один я, но и тот, кто разослал эти письма. Нас заперли в этой коробке, чтобы мы сыграли в игру «Цена антракта». И единственный способ выжить — понять правила. А для этого мне нужно узнать, кто вы все на самом деле.

Он перевел дыхание и добавил тихо, но так, что в наступившей тишине его услышал каждый:

— И начнем мы с моего дневника. Потому что фраза про «дно моей бездны» взята отсюда. Ее не знал никто. Кто из вас читает мысли, господа? Или, быть может, чужие записные книжки?

Пламя свечей дрогнуло от сквозняка, пронесшегося по залу, словно сама преисподняя выдохнула в ожидании ответа. Рихтер стоял на краю сцены, сжимая письмо, и чувствовал, как сердце, пережившее одну остановку, начинает свой бег заново — тяжелый, частый, но полный холодной, смертельной решимости. Психологический триллер его жизни начался, и теперь режиссером будет не он. Теперь он — лишь актер, которому предстоит выучить роль ценой в жизнь.

Глава 2. Анатомия страха

Тишина, повисшая в зале после слов Рихтера, была не просто отсутствием звуков. Это была материальная субстанция, вязкая и холодная, как гель для ультразвуковых исследований. Казалось, она проникла в легкие, вытеснив оттуда воздух. Пламя ста свечей, расставленных по периметру сцены, застыло, перестав колебаться, словно сам кислород в помещении сгустился от коллективного ужаса. Рихтер стоял на авансцене, спиной к актерам, лицом к залу, и чувствовал, как по позвоночнику стекает струйка пота, хотя в помещении было до озноба холодно. Его фраза о дневнике, брошенная в зал как граната с выдернутой чекой, произвела именно тот эффект, на который он рассчитывал. Шок. Оцепенение. Паралич воли.

Теперь нужно было этот паралич трансформировать в управляемый страх. Страх, подчиняющийся режиссерской указке.

— Это безумие, — раздался звонкий, истеричный голос из третьего ряда. Инга Берг вскочила со своего места. Её лицо, обычно холеное и надменное, сейчас напоминало треснувшую фарфоровую маску. Тушь потекла, оставляя черные дорожки на щеках. — Вы, Рихтер, всегда были эгоцентриком и позером, но это уже слишком! Вы не имеете права удерживать нас здесь! Это незаконное лишение свободы! Если там

бомба, нужно вызывать саперов, а не играть в ваши дурацкие психологические игры!

— Сядьте, Инга Аркадьевна, — голос Рихтера прозвучал сухо, словно выстрел хлопушки. — Ваше право на свободу закончилось в тот момент, когда вы вскрыли этот конверт. Как и ваше право на саперов. Тот, кто все это устроил, не шутит. И он дал понять: любое внешнее вмешательство — и мы все превратимся в пепел. Вы же критик. Вы должны уметь читать текст. Перечитайте письмо. Там сказано: «Условие отмены». Не «угроза», не «шутка». Аппаратура активирована по таймеру. И поверьте, у того, кто способен на такой сценарий, хватит ума снабдить устройство датчиком глушения сигнала или вибрации. Мы в ловушке.

Инга судорожно вздохнула, открыла рот, чтобы возразить, но её перебил густой бас Олега Мстиславовича. Меценат поднялся со своего места в первом ряду неспешно, с достоинством человека, привыкшего, что сама реальность прогибается под его желания. Он был бледен, но внешне спокоен. Лишь пальцы, теребившие золотую запонку, выдавали его напряжение.

— Викентий Павлович, — произнес он, чеканя слова, — допустим, вы правы. Допустим, мы в западне. Но с чего вы взяли, что ключ к разгадке — ваш личный дневник? Мало ли какой безумец мог написать эту пафосную чушь про «дно бездны»? Это расхожая метафора.

— Потому что, Олег Мстиславович, — Рихтер позволил

себе холодную, не предвещающую ничего хорошего улыбку, — в моем дневнике эта фраза звучит иначе. Там написано: «Я заглянул на дно своей бездны и увидел там не смерть, а пустоту, которая смотрела на меня моими же глазами». Автор письма процитировал лишь половину, но интонацию сохранил. Это мой текст. Моя мысль. Я не публиковал его, не озвучивал на лекциях, не цитировал в интервью. Он существовал в единственном экземпляре. В тетради в черном коленкоровом переплете, которая всегда лежит в левом верхнем ящике моего рабочего стола. Или лежала.

По залу пронесся гул. Люди начали переглядываться, шептаться. Атмосфера из стадии шока переходила в стадию лихорадочного поиска виновного.

— То есть, — подал голос молодой парень в очках, сидевший с краю, — вы хотите сказать, что кто-то из нас... из зрителей... рылся в ваших вещах?

— Или кто-то из актеров, — тихо добавил Снегирев, который все еще стоял на сцене, но уже вытирал лицо от грима краем рубахи. — Уборщица, костюмер, осветитель. Любой, кто имел доступ в кабинет мастера.

Рихтер поднял руку, призывая к тишине.

— Именно это нам и предстоит выяснить. У нас два часа. Два часа двадцать минут, если быть точным. За это время мы должны понять, кто Кукловод. И либо найти устройство и обезвредить его, либо... — он сделал паузу, обводя взглядом побледневшие лица, — либо принять его условия.

— Вы предлагаете нам выбрать жертву?! — взвизгнула женщина в собольем палантине, сидевшая рядом с меценатом. — Вы с ума сошли! Это же чистой воды сатанизм!

— Я предлагаю вам выжить, — отрезал режиссер. — И для начала — познакомиться друг с другом поближе. Потому что Кукловод явно находится среди нас. Сейчас он сидит, затаившись, и наслаждается первым актом своей драмы. И поверьте моему режиссерскому опыту: у него есть любимчики в этом зале. Есть те, кого он наметил на роль жертвы. А возможно, и те, кто помогает ему, даже не подозревая об этом.

Рихтер повернулся к помощнику Косте, который застыл у пульта осветителя с побелевшим лицом.

— Костя, включи полный свет. Антракт окончен. Начинается собрание труппы и зрителей.

Через секунду под потолком вспыхнули лампы дневного света, залив зал безжалостным, больничным сиянием. Магия театра умерла мгновенно. Теперь стали видны потертости на бархате кресел, трещины на лепнине, усталые, испуганные лица людей. Исчезли тени, исчез полумрак, а вместе с ним исчезла и последняя иллюзия безопасности. Сто восемьдесят три человека — именно столько, прикинул Рихтер, было в зале, — оказались выставлены на всеобщее обозрение, словно экспонаты в кунсткамере.

— Прошу всех представиться, — скомандовал Рихтер. — Это не светская церемония, а следственное действие. Нач-

нем с первого ряда.

Он спустился со сцены в зал. Его шаги гулко отдавались в притихшем помещении. Актеры, все еще в своих пугающих масках, неуверенно потянулись за ним, сбиваясь в кучку у края сцены. Снегирев сел прямо на пол, опустив голову на руки. Молодой бунтарь, ворвавшийся на сцену, стоял поодаль, прислонившись к колонне, и нервно кусал губы. Рихтер отметил про себя, что парень больше не выглядит агрессивным. Сейчас он казался просто испуганным мальчишкой, который осознал, что его эпатажная выходка была лишь спусковым крючком для кошмара, масштабов которого он не понимал.

— Меня зовут Арсений, — произнес парень, перехватив взгляд режиссера. — Арсений Громов. Я актер. Безработный. Пришел на премьеру, потому что... потому что меня не взяли в труппу. Я проходил прослушивание полгода назад. Вы меня не взяли. Сказали, что у меня нет «фактуры пустоты».

Рихтер на мгновение прикрыл глаза. Он смутно припомнил долговязого юношу с горящими глазами, который читал монолог Гамлета так, словно резал себя ножом. Слишком много эмоций, слишком мало техники. Он действительно отказал ему.

— Это вы вложили конверты? — прямо спросил режиссер.

— Нет! — Арсений вскинул голову. — Я нашел конверт

на своем сиденье, когда вошел. И в письме было написано: «Если ты действительно хочешь попасть в театр Рихтера, ты должен будешь остановить спектакль в сцене с зеркалами. Скажи, что это ложь. Остальное — наше дело». Я думал, это такой перформанс! Проверка на профпригодность! Я думал, это вы все подстроили, чтобы посмотреть на мою реакцию!

Рихтер горько усмехнулся. Кукловод использовал обиженного мальчишку как слепое орудие. И Арсений, со своим актерским тщеславием и жаждой признания, идеально подошел на эту роль.

— Значит, вы не знаете, кто это написал?

— Понятия не имею. Клянусь.

— Хорошо, пока остаетесь здесь.

Рихтер переключил внимание на первый ряд. Там сидел Олег Мстиславович, его спутница, Инга Берг, еще одна пара — мужчина лет сорока с военной выправкой и элегантная дама с холодным, ничего не выражающим лицом.

— Представьтесь, — обратился он к военному.

— Полковник Добрынин, — мужчина встал, чеканя каждое слово. — Алексей Сергеевич. Федеральная служба безопасности. В отставке.

По залу пробежал вздох облегчения.

— Господин полковник, — Рихтер нахмурился, — что вы здесь делаете? Вы были приглашены?

— Я поклонник театра, — Добрынин усмехнулся, но глаза его оставались колючими и цепкими. — А моя супруга, — он

кивнул на даму рядом, — большая поклонница вашего творчества, Викентий Павлович. Мы получили приглаательные билеты по почте. Именные. С гербовой печатью театра.

— По почте? — Рихтер резко обернулся к администратору, которая стояла у входа, прижав руки к груди. — Марья Ивановна! Как такое возможно? Я сам утверждал списки приглашенных. Все билеты распространялись только через канцелярию театра.

— Я... я не знаю, — пролепетала женщина. — Списки подавал ваш помощник, Константин. И печать хранится у него. Все взгляды скрестились на Косте. Тот побледнел еще больше, хотя, казалось, дальше уже некуда.

— Викентий Павлович, я ничего не рассылал! — затараторил он. — Я напечатал ровно сто восемьдесят приглаательных по вашему списку. Все они были вручены лично в руки адресатам или оставлены на стойке администратора. Я не посылал никакой почты!

— Значит, у Кукловода был доступ к печати, — медленно произнес Рихтер. — И к бланкам театра. Круг сужается. Это человек из персонала.

Он вновь повернулся к полковнику.

— Алексей Сергеевич, ваш опыт сейчас неоценим. Вы можете осмотреть зал? Попытаться найти взрывное устройство, если оно существует?

— Я уже осмотрел, — спокойно ответил Добрынин. — За те несколько минут, пока вы тут произносили речи. Я быв-

ший взрывотехник. Прошел Афган и две чеченские кампании. Можете мне поверить: стандартных мест для закладки в этом зале нет. Но это не значит, что устройства нет. Профессионал мог замаскировать его в стене, в несущей конструкции, за плинтусом. Без спецоборудования мы его не найдем.

— Но ваша собака... — начал было Рихтер.

— Собака искала тротил, гексоген, пластит. Стандартную взрывчатку. Если это нечто на основе пероксида ацетона, сваренное в домашних условиях, или жидкая взрывчатка, закачанная в полости, овчарка могла и не среагировать. Особенно если запах перебит чем-то едким. Здесь полно запахов: свечи, грим, воск.

— То есть бомба действительно может быть здесь, — подвел итог меценат.

— Бомба *должна* быть здесь, — жестко сказал Рихтер. — Иначе вся эта игра теряет смысл. Наш Кукловод — человек театра. Он мыслит драматургически. Если в первом акте на стене висит ружье, в третьем оно должно выстрелить. Мы находимся в пьесе, господа. И наша задача — сломать сюжет до того, как опустится занавес.

Он прошелся по проходу, вглядываясь в лица зрителей. Люди сидели, вжавшись в кресла, и в их глазах читался один и тот же вопрос: «Почему я? За что мне это?». Это была естественная, эгоцентрическая реакция человека, столкнувшегося с бессмысленной угрозой. Но Рихтер знал, что для Кукловода смысл был. Глубинный, личный, выстраданный.

Мсть такого масштаба не бывает случайной. Она всегда питается из какого-то одного, очень глубокого источника боли.

— Продолжаем опрос, — скомандовал он. — Третий ряд. Представьтесь.

С третьего ряда поднялся сутулый мужчина в потертом пиджаке с кожаными заплатками на локтях. Его лицо было изрыто оспой, а глаза прятались за толстыми линзами очков.

— Григорий Наумович Фихтенгольц, — произнес он глухим, простуженным голосом. — Я преподаватель философии. Читаю курс по экзистенциализму в педагогическом университете. Меня пригласила Инга Аркадьевна. Мы старые знакомые.

Инга, сидевшая через два кресла от него, нервно дернула плечом.

— Я подумала, что Грише будет интересно. Он пишет докторскую о суицидальном дискурсе в современном искусстве.

— О суицидальном дискурсе? — переспросил Рихтер, и его глаза хищно сузились. — Как любопытно. Значит, вы специалист по теме моего спектакля?

— Я специалист по философскому осмыслению добровольной смерти, — поправил его Фихтенгольц. — И сразу скажу: ваш спектакль — это профанация. Вы эстетизируете то, что должно вызывать ужас. Превращаете трагедию в балаган.

— Вы поэтому решили устроить нам этот реалити-квест? — в лоб спросил Рихтер. — Чтобы мы почувствовали «под-

линный ужас»?

По залу пронесся возмущенный ропот. Философ побагровел.

— Вы смеете меня обвинять?! Да я... я не стал бы марать руки о такую дешевую мелодраму! Чтобы устроить то, что вы описываете, нужен практический ум и знание взрывчатых веществ. Я же, простите, не умею даже розетку починить! И потом... с какой стати? Вы мне безразличны. Ваш театр — лишь один из сотни примеров деградации культуры.

— И все же вы пришли, — заметил Рихтер. — Сидите в первом ряду партера. Значит, не так уж я вам безразличен.

Он отвернулся от философа, чувствуя, как внутри закипает раздражение. Фихтенгольц был типичным резонером, но не деятелем. Такие люди могут вдохновить на преступление, но не способны его совершить. Их оружие — слово, а не бомба.

Он перевел взгляд дальше. В четвертом ряду сидела женщина, которая сразу привлекла его внимание. Она была одета в черное, словно на похороны, и на ее коленях лежал блокнот. Пока вокруг царил паника, она что-то сосредоточенно записывала. Ее лицо, бледное и аскетичное, было обрамлено темными волосами, убранными в строгий пучок. На вид ей было около тридцати.

— А вы кто? — спросил Рихтер.

Женщина подняла голову и посмотрела на него в упор. Ее глаза были спокойны, как вода в глубоком колодце.

— Меня зовут Вера. Вера Полонская, — произнесла она ровным, хорошо поставленным голосом. — Я судебный психиатр. Пришла по личному приглашению, которое нашла в своем почтовом ящике. Обратного адреса не было, но был вложен ваш буклет. Я решила, что это какой-то новый способ завлечения публики. Театральный маркетинг.

Рихтер почувствовал холодок, пробежавший по спине. Судебный психиатр. Еще один «специалист» по темным сторонам человеческой души. Кукловод собирал этот зал с какой-то извращенной тщательностью. Критик, меценат, философ, психолог, отставной взрывотехник. Все они были не случайны. Они были зеркалами, отражающими разные грани его собственной личности.

— Вы не боитесь? — спросил он Веру.

— Боюсь, — спокойно ответила она. — Но страх — это всего лишь химическая реакция. Выброс адреналина и кортизола. Я умею отделять свои эмоции от аналитического процесса. И сейчас, наблюдая за вами, Викентий Павлович, я вижу интересную картину. Вы действуете так, словно уже знаете, кто за этим стоит. Или, по крайней мере, подозреваете.

— Я подозреваю всех, — отрезал режиссер. — Включая вас.

— Это разумно, — кивнула Вера и вновь склонилась над своим блокнотом, делая очередную запись.

Рихтер продолжил обход. Он шел по рядам, и люди вста-

вали один за другим, называя имена, профессии, объясняя свое присутствие. Здесь был молодой композитор-авангардист, надеявшийся, что Рихтер пригласит его к сотрудничеству. Пожилая актриса, когда-то блиставшая на сцене того же «Геликона», а теперь всеми забытая и прозябающая в нищете. Она смотрела на Снегирева с завистью и горечью. Был журналист из оппозиционной газеты, который уже строчил заметку о скандале, нервно поглядывая на часы. Была пара влюбленных студентов, которые случайно купили билеты с рук у спекулянта. Девушка тихо плакала, парень беспомощно гладил ее по плечу. Было несколько завсегдатаев премьер, светских львиц и денди, которые сейчас растеряли весь свой лоск и выглядели как мокрые курицы.

Но среди этой пестрой толпы Рихтер искал не лица. Он искал взгляд. Тот особый, холодный, оценивающий взгляд, который бывает только у режиссера, наблюдающего за своей постановкой из ложи. Он знал этот взгляд, потому что сам смотрел на сцену точно так же. Взгляд демиурга.

Пока он шел, Снегирев тихо подошел к нему сзади и тронул за локоть.

— Викентий Павлович, можно вас на минуту? Без свидетелей.

Рихтер кивнул и отвел актера за колонну, в тень, куда не доставал свет ламп.

— Говори.

— Вы должны знать, — зашептал Снегирев, нервно огля-

дываясь. — Ваш дневник... я видел, как его читали. За неделю до премьеры.

Рихтер почувствовал, как кровь отлила от лица.

— Кто? Почему ты молчал?

— Потому что это был не посторонний, — Снегирев облизнул пересохшие губы. — Это была она. Майя.

Майя. Это имя ударило его под дых. Майя Ростockкая. Актриса, игравшая Первый Голос. Его бывшая жена. Его проклятие и его наваждение. Они расстались три года назад после десяти лет брака. Расстались страшно, с криками, битьем посуды и взаимными обвинениями, которые перешли все границы. Майя обвинила его в эмоциональном вампиризме, в том, что он высосал из нее всю душу, превратил в инструмент, а потом выбросил за ненадобностью, когда она перестала давать нужную ему «энергию». Он обвинил ее в бездарности и алкоголизме. Правда, как всегда, была где-то посередине, но рана осталась незаживающей.

— Где она сейчас? — хрипло спросил Рихтер. Он только сейчас осознал, что не видел ее во время хаоса на сцене.

— Она ушла за кулисы сразу после того, как разбили зеркало, — Снегирев кивнул в сторону черной дыры, ведущей в актерский карман. — Сказала, что ей нужно поправить грим. Но это было еще до того, как Арсений выскочил на сцену. То есть, она ушла почти сразу после начала спектакля.

— Почему ты не сказал мне сразу?!

— Потому что я не думал... Я и сейчас не уверен! Она

могла просто читать. Из любопытства. Вы же знаете, она до сих пор к вам равнодушна.

Рихтер уже не слушал его. Он быстрым шагом направился за кулисы. Полковник Добрынин, заметив его движение, двинулся следом.

— Я с вами, — тихо сказал он. — Не ходите один.

Они прошли через лабиринт пыльных декораций, оставшихся от прошлых постановок. Картонные колонны, изображавшие античный храм, соседствовали с металлическими конструкциями из индустриальной драмы. Где-то капала вода, пахло клеем и старой тканью. Гримерка Майи находилась в самом конце коридора, рядом с пожарным выходом. Дверь была приоткрыта.

Рихтер толкнул ее и вошел.

Майя сидела перед зеркалом спиной к двери. Ее пышные рыжие волосы были распущены, а плечи вздрагивали. Она плакала. Перед ней на столике стояла початая бутылка виски и лежал... конверт. Точно такой же, как у остальных. Но гораздо толще.

— Майя, — позвал он.

Она вздрогнула и резко обернулась. Ее лицо, все еще покрытое белым гримом Первого Голоса, было залито слезами. Черные стрелки размазались, превратив ее в трагическую маску кабуки. Но глаза... В ее глазах Рихтер не увидел страха. Он увидел в них какое-то странное, горькое торжество.

— Ты все-таки пришел, — прошептала она. — Я знала,

что ты придешь.

— Что у тебя в конверте? — спросил режиссер, стараясь, чтобы голос звучал твердо.

— Правда, — она горько усмехнулась. — Вся та правда, которую ты так боялся узнать.

Рихтер выхватил конверт из ее рук. Внутри действительно лежала пачка листов, исписанных ровным, убористым почерком. Но это был не его дневник. Это были какие-то записи, медицинские выписки, фотографии. На одном из листов он разглядел бланк реанимационного отделения. На другом — протокол допроса с печатью полиции. В самом низу лежала черно-белая фотография. На ней был запечатлен мужчина, выпавший из окна. Тело на асфальте, раскинутые руки, темная лужа под головой.

— Что это? — спросил он, чувствуя, как к горлу подступает тошнота.

— Это твой зритель, — прошептала Майя, поднимаясь со стула. Она пошатнулась и оперлась рукой о столик. — Тот самый зритель, который покончил с собой через неделю после того, как посмотрел твою предыдущую премьеру. «Король Лир» в катакомбах. Помнишь? Ты тогда устроил финал с повешением. Все говорили о гениальности. А через неделю молодой человек, страдавший депрессией, надел петлю у себя в общежитии.

Рихтер застыл. Он помнил этот случай. Тогда был скандал. Критики обвиняли его в безответственности, в том, что

искусство не имеет права быть настолько жестоким. Но он отбил. Сказал, что театр — это не комната психологической разгрузки, а место, где человек должен столкнуться с бездной. И если кто-то не выдерживает столкновения, то вина лежит не на художнике, а на слабости духа зрителя.

— Кукловод прислал тебе это? — глухо спросил он.

— Кукловод? — Майя рассмеялась надтреснутым, истеричным смехом. — Витя, ты до сих пор не понял? Кукловод — это ты! Это все — твоих рук дело! Твой театр, твоя этика, твои дневники! Ты сам создал этот чудовищный спектакль! А мы лишь актеры, которых ты загнал в угол.

— Не говори ерунды! — рявкнул полковник, делая шаг вперед. — Где ваш дневник, Рихтер? Он у нее?

Майя резко развернулась к сейфу, встроенному в стену за занавеской. Сейф был открыт. Внутри было пусто, если не считать какой-то мелочи.

— Дневник пропал неделю назад, — прошептала Майя. — Я взяла его почитать. Да, я рылась в твоём столе! Я все еще люблю тебя, идиот! Я хотела понять, о чем ты думаешь, чем ты живешь без меня! Я прочитала там все эти жуткие записи о «красоте суицида», об «эстетике последнего шага»... А потом я вернулась, чтобы положить его на место, но его уже не было! Кто-то выкрал его прямо у меня из гримерки!

Рихтер почувствовал, как мир начинает вращаться все быстрее и быстрее, превращаясь в воронку, на дне которой чавкала та самая пустота.

— Кто-то знал, что дневник у тебя, — медленно произнес он. — Кто-то следил за тобой. И этот кто-то использовал твои чувства, чтобы выкрасть мое подсознание. Кому ты говорила?

— Никому! — выкрикнула Майя. — Я не самоубийца!

— Ты уверена? — Рихтер пристально посмотрел на бутылку виски и на ее дрожащие руки. — Ты уверена, что, напившись, не проболталась кому-нибудь в театральном буфете?

Майя осела обратно на стул и закрыла лицо руками.

В этот момент в гримерку ворвался запыхавшийся Костя.

— Викентий Павлович! Там... в зале... еще одно письмо! Его нашли под сиденьем в пятом ряду. Оно адресовано лично вам!

Рихтер выхватил конверт у Кости и разорвал его. Внутри была маленькая записка, написанная тем же печатным почерком:

«Время идет, маэстро. Вы ищете виновных среди актеров, но забываете о тех, кто сидит в зале. А ведь среди них есть тот, чья жизнь была разрушена вашим „искусством“. Тот, чей сын поверил вам, когда вы говорили, что смерть — это акт свободы.

Найдите его. Найдите отца. Это ваш первый настоящий зритель. И помните: бомба тикает. С любовью, Кукловод».

Рихтер поднял глаза на полковника Добрынина. Тот стоял, скрестив руки на груди, и лицо его было непроницаемым.

Но в глубине зрачков что-то дрогнуло. Что-то похожее на боль.

— Алексей Сергеевич, — тихо произнес режиссер, — вы говорили, что ваш сын покончил с собой?

Воцарилась пауза, тяжелая, как бетонная плита. Полковник молчал, глядя сквозь Рихтера, словно видел там, за его спиной, призрака.

— Нет, — ответил он наконец. — Я такого не говорил. Я сказал, что пришел с женой, потому что она поклонница вашего творчества. Про сына я не говорил ни слова.

— Но ваши глаза... — начал Рихтер.

— Мои глаза видели много дерьма, — оборвал его полковник. — И сейчас я вижу перед собой человека, который загнал в ловушку две сотни людей и теперь пытается переложить ответственность на кого-то другого.

Рихтер сглотнул. Логика полковника была неумолима. Действительно, с чего он взял, что Добрынин — тот самый отец? Кукловод играл с ним, подсовывая ложные цели. Он хотел, чтобы режиссер начал подозревать полковника, посеять панику, столкнуть их лбами.

— Простите, — выдавил из себя Рихтер. — Нервы.

Он вышел из гримерки в коридор. Ему нужно было подумать. Голова раскалывалась. Итак, что у них есть? Дневник украден. Содержание дневника известно Кукловоду. Майя — лишь звено в цепочке, а не конечная цель. В зале сидит человек, который потерял близкого и винит в этом его театр.

Этот человек готов взорвать всех, включая себя, чтобы доказать свою правоту. Но кто он? Философ Фихтенгольц, рассуждающий об экзистенциализме? Журналист, пишущий о скандалах? Пожилая актриса, чья карьера рухнула? Или кто-то еще?

— Викентий Павлович, — позвал его Костя, неслышно подошедший сзади. — Там этот... Арсений. Он хочет с вами поговорить. Говорит, что вспомнил что-то важное.

— Что он вспомнил? — резко обернулся режиссер.

— Что когда он вошел в зал и сел на свое место, конверта на сиденье еще не было. Он появился позже, когда начался спектакль. Кто-то положил его прямо во время игры.

— Во время игры? — Рихтер нахмурился. — Но свет уже был погашен.

— Вот именно, — Костя нервно сглотнул. — Значит, тот, кто это сделал, ориентируется в темноте. Или у него был прибор ночного видения.

Или, подумал Рихтер, но не сказал вслух, этот человек знает планировку зала настолько хорошо, что может передвигаться по нему с закрытыми глазами. Как актер. Как режиссер. Как тот, кто провел здесь сотни часов.

Он вернулся в зал. Там царила напряженная атмосфера предгрозя. Люди разбились на группки и переговаривались шепотом. При его появлении все разговоры стихли. Он прошел к центру сцены и встал под яркий луч прожектора, который кто-то снова включил.

— Дамы и господа, — обратился он к залу. — У нас есть улика. Письма были доставлены не до начала спектакля, а во время него. Кто-то из вас, сидящих здесь, вставал со своего места в полной темноте и шел по рядам. Это рискованный шаг. Кто-нибудь заметил движение рядом с собой? Кто-нибудь почувствовал прикосновение?

В зале поднялся шум. Люди начали переговариваться, спорить. Внезапно со своего места поднялась девушка из пары влюбленных студентов. Она была бледна и дрожала.

— Я... я кажется, что-то видела, — пролепетала она. — Во время сцены с зеркалами. Мне показалось, что кто-то прошел мимо меня. Я сижу с краю, в восьмом ряду. Я почувствовала движение воздуха и запах. Запах лаванды.

— Лаванды? — переспросил Рихтер и его взгляд метнулся к Майе, которая как раз вышла из-за кулис и стояла, прислонившись к косяку. Майя всегда пользовалась духами с ароматом лаванды. Это был ее фирменный запах. Но в зале было еще как минимум пять женщин, которые могли пользоваться похожими духами.

— Я не выходила из гримерки, — громко сказала Майя, перехватив его взгляд. — С самого начала спектакля.

— Это может подтвердить кто-нибудь? — спросил Рихтер у труппы.

Актеры переглянулись. Никто не мог поручиться. Во время сцены с зеркалами все внимание было приковано к Снегиреву.

Запах лаванды. Это была нить, тонкая, как паутина, но Рихтер ухватился за нее. Он спустился в зал и подошел к восьмому ряду.

— Вы позволите? — обратился он к студентке и, не дожидаясь ответа, наклонился к ее сиденью. Он осмотрел пол, провел рукой под креслом. Пальцы наткнулись на что-то маленькое и твердое. Он поднес находку к свету. Это была сережка. Маленькая серебряная маска комедии, точная копия его запонок. Точно такие же украшения он дарил Майе на третью годовщину свадьбы.

Он медленно выпрямился и повернулся к бывшей жене.

— Майя, — позвал он, и его голос дрогнул. — Где твоя вторая сережка?

Майя машинально схватилась за мочку уха. В одном ухе серьги не было. Она посмотрела на Рихтера расширившимися от ужаса глазами.

— Я... я не знаю... Должно быть, потеряла...

— Или обронила здесь, — закончил он. — Когда шла по проходу с конвертами в руках. В темноте, во время спектакля. Когда, по твоим словам, ты была в гримерке.

— Это не я! — закричала она. — Кто-то украл мою сережку! Как и дневник!

Рихтер смотрел на нее и не знал, верить или нет. Она играла. Она всегда была великой актрисой. И сейчас он не мог понять, где заканчивается искренний ужас и начинается гениальная игра. Актеры труппы смотрели на нее с ужасом и

недоверием. Снегирев закрыл лицо руками.

— Это могло быть подброшено, — раздался спокойный голос Веры Полонской. Она поднялась со своего места и подошла к Рихтеру. — Любой, кто знал о ваших отношениях с госпожой Ростоцкой, мог украсть ее сережку и подбросить сюда. Это классический прием перекладывания вины. Кукловод манипулирует нами, сталкивает друг с другом. Не поддавайтесь.

Рихтер посмотрел на нее. В ее холодных, аналитических глазах читалась поддержка. Она была единственным человеком в этом зале, который не терял головы.

— И что вы предлагаете? — спросил он.

— Систематизировать поиск, — ответила Вера. — Мы должны разделиться на группы. Обыскать театр. Проверить каждого, кто имел доступ к вашему кабинету и гримерке Майи. Снять отпечатки пальцев с конвертов, если это возможно. И главное — понять мотив. Месть за погибшего сына — это сильный мотив. Но, возможно, не единственный. Что, если цель Кукловода не просто взрыв, а что-то другое? Что, если он ждет, что мы сами начнем убивать друг друга?

Ее слова повисли в воздухе. Рихтер оглядел зал. Сто восемьдесят три пары глаз смотрели на него с надеждой, страхом и зарождающейся злобой. Акустика пустоты наполнилась новыми звуками: приглушенными рыданиями, скрипом кресел, тяжелым дыханием. Часы на стене показывали 20:58. До взрыва оставалось полтора часа. И с каждой минутой воз-

дух становился все более спертым, а грань между цивилизованными людьми и загнанными в угол животными — все более зыбкой.

Рихтер понял, что настоящий спектакль только начинается. И ставка в нем — не аплодисменты. Ставка — его душа.

Глава 3. Хор предателей

Предложение Веры Полонской, произнесенное спокойным, лишенным эмоций тоном, подействовало на толпу отрезвляюще. Как ведро ледяной воды, вылитое на голову истерику. Систематизировать поиск. Разделиться на группы. Проверить каждого. В этих рациональных словах забрезжила иллюзия контроля над ситуацией, которая ускользала от них последние полчаса. Рихтер ухватился за эту иллюзию, как утопающий хватается за соломинку.

— Доктор Полонская права, — произнес он, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, хотя внутри все еще дрожал комок ледяных игл после находки серьги. — Паника — наш главный враг. И тот, кто это затеял, рассчитывает именно на нее. Он хочет, чтобы мы превратились в стадо баранов, готовых растоптать друг друга при первом же испуге. Не доставим ему такого удовольствия. Действуем по плану.

Он обвел глазами зал, оценивая человеческий материал. Полковник Добрынин — с его опытом и выправкой — очевидный лидер для силовой группы. Снегирев и остальные актеры — они знают театр изнутри, каждый закоулок, каждую мышиную нору. Философ Фихтенгольц — бесполезен в практическом смысле, но его аналитический ум, если направить в нужное русло, мог бы помочь с анализом мотивов. Инга Берг — ядовитая гадина, но журналистская хватка

у нее звериная. Меценат Олег Мстиславович — темная лошадка. От него можно ожидать чего угодно, от подкупа до предательства.

— Алексей Сергеевич, — обратился он к полковнику. — Возьмите на себя осмотр несущих конструкций и технических помещений. С вами пойдут двое мужчин из зала. Кто разбирается в инженерии или строительстве?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.